



*В*зрослые часто говорят: «Тот год стал для меня решающим», — или что-то вроде того. На самом деле вранье. Все решается в детстве. Для меня все определилось в год, когда я перешла в старшую группу детского сада. Если бы я ходила в другой садик, или не ходила вовсе, или у меня были бы другие воспитатели, то и я бы стала другой. Точнее, так: не стала бы такой. А еще взрослые говорят, что ничего не помнят. Когда я спрашивала маму про ее детский сад, она всегда отвечала, что не помнит. Ну, вообще ничего. Снова вранье. Каждый взрослый помнит. Только не рассказывает об этом детям. Имена и фамилии детей и воспитательниц, их внешность, походку, особые приметы, привычки, одежду — прекрасно все помнят. Шапка воспитательницы, похожая на шкуру мокрой псины, собственное любимое платье с аппликацией на кармашке, платье Насти или Кати, которой смертельно завидовала и мечтала о таком же — даже рисунок этого вожделенного наряда память услужливо подсказывает. Запах варёжек,

Маша Трауб



которые уложены на просушку и обязательно завалят-ся за батарею — и надо лезть доставать. А там всегда пыль, и страшно засовывать туда руку — вдруг кто-то дернет снизу или укусит? Да, варежки тоже пахнут мокрой псиной. Вкус каши, мясной запеканки, запаха щей и котлет. Мучительные загадки, на которые нет и не может быть ответа. Почему вареные яйца, когда их почистишь, всегда отдают синевой? А желток снару-жи зеленый, а внутри желтый? Почему в садике ом-лет всегда пышный, как пирог, а дома быстро сдувает-ся и становится плоским? Почему колготки и гольфы всегда спадали, сколько ни подтягивай? Почему если мальчик в шортах поверх девчачьих колготок — это нормально, а если в штанах, да еще и не в трениках и не в рейтузах, то «воображала — хвост поджала»? Все это застывает в памяти на всю жизнь. Можно забыть, как выглядела первая школьная любовь, но девочку в садике, в которую влюбился, или мальчика, обеща-вшего жениться, когда вырастет, — нет, такое не забы-вается. Как ни старайся.

Когда я росла, все дети ходили в детский сад, а если не ходили, значит, считались больными или ненор-мальными. Так что все родители отдавали детей в сад, и чем раньше, тем лучше. Я пошла в два с половиной года, что считалось уже поздно. Те, кто пережил ясель-ную группу, отличались от остальных детей даже по

Лишние дети



взгляду. Наш сад считался самым обычным, но хорошим. В том смысле, что в него отдавали и детей из «приличных» семей. А те, кто из неприличных семей (как я, например), — шли «по прописке». Моя мама всегда это подчеркивала — «мы по прописке». Это означало, что меня не могут выгнать и «мы имеем право». Хотя я бы предпочла считаться «приличной».

У нашего садика не было названия, просто «тот, который рядом с поликлиникой, между помойками». Соседний сад назывался «на бывшей свалке» и предназначался исключительно для детей «по прописке».

Зато в нашем садике каждая группа имела название. Старшая называлась «Березка». Потому что на стене на лестнице была нарисована береза. Краска на стене облупилась, и береза давно стояла голая. Там, где художник нарисовал листья, зияли серые пятна. А половину ствола, ту, что от пола, замазали. Начали перекрашивать и забыли, или краска закончилась. Но это ладно. В младшей группе мы назывались «Боровичками», потому что на стене был нарисован гриб с лицом. Все дети, впервые попадавшие в группу, начинали горько плакать и просились домой. Гриб, опять же по причине облупившейся краски, скалился и сверкал единственным зубом, да и то черным, как фикса. Что такое фикса, я не знала, да и никто из детей не знал, но взрослые прозвали гриб «фиксатым». Хуже рисунков на

Маша Трауб



стенах в детском саду была только настенная живопись в детской поликлинике по соседству. Те из детей, кто не успел в совсем раннем детстве насмерть испугаться в поликлинике, узнавал, что такое настоящий ужас, в младшей группе детского сада. В поликлинике на стене изобразили мультяшных кота Леопольда и мышей. Я этот мультик ненавидела. Отчего-то художник выбрал серию, в которой кот обожрался таблеток озверина, и тщательно скопировал образ. Кот на стене получился страшным, с усами дыбом. Он пытался наброситься на мышей, выпустив здоровенные, как сабли, когти. У художника явно имелись проблемы с масштабом, иначе почему он нарисовал когти размером в две Леопольдовых головы? Мыши тоже не вызывали умиления. Толстый серый мышь бережно обнимал собственную лапу, закатанную в здоровенный гипс, а худенький белый мышонок держался за платок, обмотанный вокруг головы, — у него болели зубы, да так, что на щеке выросла здоровенная опухоль.

Вот взрослые убеждены, что все дети любят рисовать или раскрашивать. И, глядя на детские каракули, хвалят детей. Иногда лучше сразу сказать ребенку правду, а то он потом вырастет и станет художником. И примется рисовать на стенах детских поликлиник и садиков. А дети получают эмоциональную травму уже в младенческом возрасте.

Лишние дети



Что еще я могу рассказать для начала? В саду все дети резко взрослели. Самообслуживаться мы начинали очень рано. Ясельники быстро приучались к горшку, а к младшей группе все уверенно орудовали ложками. В средней группе завязывали шнурки чуть ли не морскими узлами, а те, кто не обладал этим навыком, считались умственно отсталыми. И получали все шансы на изгнание из садика. Ходить в идиотах мало кому хотелось. Мы знали, как нас зовут, домашний адрес, имя-отчество-фамилию мамы, имя-отчество воспитательницы. Отвечали четко, не задумываясь. А если задумался или не повезло с именем-отчеством — Вячеслав Станиславович какой-нибудь, или Александр Александрович, или, еще хуже, Всеволодович, то тоже отправляйся в другой сад с диагнозом. В нашем «приличном» детском саду такие дети не нужны.

Мы все чувствовали себя одинокими. Даже дети из приличных семей, все были равны в своем одиночестве. Да, мы ощущали себя лишними. Как в детской игре, которой нас изрядно мучили с младшей группы, — «третий лишний». Мы были лишними, мешающими родителям спокойно жить, работать, ссориться, мириться, заводить новых детей, уезжать в командировки. Мы становились лишними дома, поэтому нас отдавали в детский сад. Наши родители — такие же лишние дети, только выросшие. Они считали, что если ребенок не

Маша Трауб



ходит в садик, то он не выживет в школе, не подготовится к жизни. И ему будет непременно плохо потом. А о том, что нам, детям, было плохо сейчас, никто не думал. Садик считался обязательным пунктом в жизненной программе, по которой жили наши родители и их родители, и наших детей ждала та же участь — ясли, детский сад, школа, институт, работа. Коллектив. Начальство. Праздники и отпуск согласно графику. Больничный лучше не брать.

Друзья-товарищи? Нет. Привязанность к кому-то в саду приравнивалась к подарку судьбы, потому что друзья в любой момент могли исчезнуть — перейти в другой садик, уехать, получить диагноз. Дети «по прописке» не могли дружить с «приличными» детьми — слишком разный уровень жизни, слишком различались мы сами, а родители поддерживали это убеждение. Да, бывали случаи, когда дружили мамы детей из одной группы, и тогда дети тоже общались. Но нередко ненавидели друг друга. И пока мамы дружили, их отпрыски готовились к уничтожению товарища по неволе. К счастью, все заканчивалось ушибом или вывихом, разбитой губой, сломанной любимой игрушкой. Иногда мамы ссорились и переставали дружить, а детям, еще вчера обреченным на общение, полагалось игнорировать друга. Вот тогда бывшие враги и находили общий язык. Назло родительницам.

Лишние дети



К старшей группе мы убеждали себя в том, что друзей лучше не заводить, чтобы потом не терять их и не испытывать боли разлуки. Не всем это удавалось, я так и не справилась с заданием. Мы, наше поколение, научились одиночеству. И в этом заключалась наша сила. Но если дружба случалась, как у меня, например, то эта связь становилась крепче семейных уз. Семья? Никто из нас не жил в нормальной семье. Да мы и не знали, что считается «нормальным». Но мы научились не бояться взрослых, ведь они хуже нас, детей. Взрослые на поверку оказывались еще более одинокими, чем мы. Врали они уж точно ловчее нас. И даже умудрялись растерять все то хорошее, что имели мы, — чувства. Благодарность, признательность, искренность. Способность любить, горевать, прощать, начинать все сначала. Нас не учили любить, радоваться, восхищаться, гордиться. Нас учили выживать, врать, терпеть, страдать молча, не показывать своих слез. Нас учили приспособливаться, вливаться в коллектив, становиться тенью, желательно немой и глухой. Наше поколение — холодное, жесткое, циничное, нервное и при всем при этом очень отзывчивое, сохранившее доброту и навык удивляться, радоваться и ценить то, что имеешь.

Что мы узнавали с раннего детства? Нельзя «якать» и выставлять себя или свои достижения напоказ. «Я — последняя буква алфавита», — твердили все поголовно



воспитательницы. Запрещалось говорить «я могу», «я умею»: это считалось неприличным, хвастовством. Не дай бог было подумать про себя, что ты лучше, красивее, умнее, талантливее всех. Выживали дети с психологией середнячка. Пока лучших давили, а над слабыми издевались (что делали и дети и взрослые), эти середнячки могли жить спокойно. Мы росли без тактильных ощущений. Нас не обнимали, не целовали. «Телячьи нежности»; «Нечего нюни разводить»; «Мальчики не плачут»; «Мальчиков нельзя целовать — вырастут хлюпиками»; «Нельзя обнимать девочек — жизнь их потом не обнимет». Однажды я увидела, как мама при всех целует свою дочь, и замерла от этого зрелища, настолько пронзительного, что хотелось заплакать. «Вот вы ее опять лижете! — рявкнула воспитательница. — А мне с ней что потом делать?» Мама резко отстранилась от дочери, словно от чужой девочки. Словно «облизывание» приравнивалось к преступлению, из-за чего весь воспитательный процесс пошел бы насмарку. Да, я не слышала слова «поцелуй». Я слышала «лизаться». Объяснения — такого слова тоже не существовало в нашем лексиконе. Существительное заменял глагол «тискаться», который резал мне уши. Мне не нравилось, как звучат эти слова — «лизаться», «тискаться». А еще был глагол «сосаться», но он считался совсем неприличным. Его ни в коем случае нельзя было повторять. Хотя впервые

Лишние дети



я его услышала, когда увидела родителей одной девочки. Ее папа с мамой вдруг остановились и поцеловались. И воспитательница сказала, что они «опять сосутся», и произнесла это таким тоном, будто они делали совсем уж что-то неприличное и стыдное.

Я не помню, как ни стараюсь, чтобы мама меня обняла или поцеловала. Даже на ночь. Мы бежали навстречу родителям, которые приходили нас забрать вечером из сада, и резко тормозили, наталкиваясь на непробиваемый щит. Отскакивали от него и делали вид, что вовсе и не бежали. Мама целовала меня в день моего рождения — чмокала в макушку. Нас не хвалили за успехи, чтобы мы «не зазнались». Поцелуи и объятия считались позволительными только бабушкам, поскольку «что с нее взять — избаловала ребенка, вот он и сел на голову, а скоро и ноги свесит». К бабушкам относились как к неизбежному злу, которое — это самое зло — может только испортить ребенка и навредить ему, но с ним приходилось считаться. У меня бабушки не было. Не знаю, каково это — быть расцелованной, закормленной и залюбленной вопреки всем запретам.

Мы все, мое поколение, рано начинали говорить — нам надо было выживать. Уже в пять лет умели ровно, без складок, застилать постель и ставить подушку «уголком». Подметать пол, мыть полы, вытирать пыль, поливать цветы — этими ерундовыми навыками мы овла-



девали еще в средней группе. Как и регулировать кран в ванной — тогда ни о каких смесителях никто и не слышал. Холодная вода отдельно, горячая — отдельно. Из горячего крана обычно тек кипяток. Пару раз ошпарив руки, смешивать воду научились все. А кто так и не научился — умывался холодной. Я ненавижу свое детство и воспоминания о нем. Ненавижу свой детский сад, дорогу к нему, помойку, даже две, и каждую ступеньку на лестнице. Я все отлично помню, хотя предпочла бы забыть. Именно тот год сделал меня такой, какой я стала, — женщиной, которая не хочет иметь детей. Которая не способна любить и заботиться о собственной матери. У меня нет никаких чувств, я не умею жалеть. Даже животные меня не особо трогают. Я понимаю, что нужно пожалеть, но не умею это почувствовать. Не могу доверять никому, кроме самой себя. Я — чудовище, а не женщина. И я могла стать другой, если бы не тот год. Не та группа детского сада. Или нет? Или я все-таки безнадежна и могу стать нормальной? Хотя бы как все?

Меня зовут Рита. Маргарита. Мама назвала меня в честь героини романа Булгакова, который считала своим любимым произведением. Я, естественно, романа не читала, но была уверена, что Маргарита там какая-то чокнутая на всю голову. Или моя мама ненормальная, раз другого имени не могла придумать. Разве можно называть дочь в честь романа? Всех девочек,

Лишние дети



которых я знала, называли в честь бабушек. Кстати, об этом я тоже часто думала — почему у меня нет бабушки? У всех же есть. Отца, не говоря уже о каком-нибудь дедушке, у меня тоже не нашлось, так что спросить, почему мама назвала меня Маргаритой, оказалось не у кого. Так что нет ничего удивительного в том, что я сразу была не такая, как все остальные дети: кукухой поехала.

Мое имя мне никогда не нравилось, поэтому я о нем столько думала. Обычно меня называли Риткой. Или просто Ритой. Мама иногда звала Ритулей. Да, и я была единственной Ритой в группе. Три Лены, две Светы, еще две Иры. Маши, Кати, Наташи — нормальные имена для девочек. А Рита — ненормальное. Когда в садике нас заставляли учить наши полные имена — имя, отчество, фамилия, я плакала каждый день. Маргарита Григорьевна Куприянова. Букву «эр» я начала выговаривать очень рано. Жизнь заставила. Маргарита Григорьевна. Разве можно подбирать такое имя под отчество? Это же чокнуться можно, пока выговоришь. Так же плохо было только моему другу Стасику. Его мама тоже с головой, кажется, не дружила. Стасик был Станиславом Эдвиновичем.

Получалось, что моего отца звали Григорием, то есть сокращенно Гришей. Вот это у меня вообще в голове не укладывалось. Да во всех группах детского сада,